

Из дневника познанского учителя. Генрик Сенкевич

Огонь лампы, хотя он был убавлен, все же будил меня. И не раз в два или в три часа ночи я видел Михася за работой. Его маленькая, хрупкая фигурка в одном белье склонялась над книжкой, и в ночной тишине сонный, усталый голос механически повторял греческие и латинские спряжения с той монотонностью, с какой в костеле повторяют слова молитв. Когда я приказывал ему ложиться, мальчик отвечал: "Я еще не все выучил, пан Вавжинкевич". Между тем заданные уроки я готовил с ним вместе с четырех до восьми и с девяти до двенадцати и никогда не ложился спать, не убедившись, что он все знает. Но "всего" задавали слишком много. Кончая последний урок, мальчик забывал первый, а спряжения - греческие, латинские и немецкие, - смешиваясь с названиями различных уездов, вносили в его бедную голову такую путаницу, что он не мог уснуть. Тогда он вставал с постели, зажигал лампу и снова садился за стол. Когда я бранил его, он плакал и выпрашивал у меня разрешение еще немного позаниматься. Со временем я так привык к его ночным бдениям, свету лампы и бормотанию повторяемых спряжений, что без них уже сам не мог уснуть. Вероятно, не следовало позволять ребенку переутомляться, но что же было делать? Должен же он был ежедневно хоть как-нибудь выучить уроки, иначе его бы исключили из школы, а одному богу известно, какой бы это был удар для пани Марии. После смерти мужа она осталась с двумя сиротами и все надежды возлагала на Михася. Положение было безвыходное. Мальчик должен был хорошо учиться, в то же время я видел, что чрезмерное умственное напряжение подрывает его здоровье и угрожает жизни. Нужно было хотя бы укреплять его физически, заставлять заниматься гимнастикой, много ходить или ездить верхом, но на это не хватало времени. Ребенок столько работал, каждый день ему приходилось столько учить наизусть, столько писать, что я с чистой совестью говорю: не хватало времени. Латынь, греческий и... немецкий отнимали не одну минуту, необходимую мальчику для здоровья, веселья и жизни; по утрам, укладывая ему книжки в ранец, я видел, как его худенькие плечики сгибались под тяжестью этих византийских томов, и сердце у меня сжималось от боли. Несколько раз я просил быть снисходительнее к нему и не требовать так много, но немцы-учителя отвечали, что я балую и порчу ребенка, что Михась, очевидно, недостаточно занимается, что у него польский акцент и что он плачет по малейшему поводу. У меня больная грудь, я одинок и раздражителен, и потому эти упреки отравили мне тоже не одну минуту. Я-то лучше их знал, достаточно ли занимается Михась. У него были средние способности, но он проявлял столько упорства и, при всей своей хрупкости, обладал такой силой характера, какой мне никогда не случалось встречать в других детях. Бедный Михась был слепо и страстно привязан к матери, к тому же ему внушили, что мать его очень больна и несчастна и что, если он будет плохо учиться, это ее убьет. Мальчик дрожал при одной мысли об этом и целыми ночами просиживал над книгой, лишь бы не огорчить мать. Он рыдал, получив дурную отметку, но никто не догадывался, отчего он плачет, какую страшную ответственность чувствует ребенок в такие минуты. Эх! Да какое кому дело было до этого, у него был польский акцент - и баста! Я его не баловал, не портил, но понимал его лучше других и если не бранил его за неудачи, а старался утешить, - это уж никого не касалось. Сам я в жизни немало поработал, испытал и голод и нужду, счастливым никогда не был и не буду, - и пусть все летит к черту! Я уже и зубов не стискиваю, когда думаю об этом. Я не верю, что стоит жить, и, может быть, именно поэтому искренне сочувствую каждому несчастью.

Но я в возрасте Михася по крайней мере был весел и здоров, вволю гонял голубей по улицам или играл в бабки у ратуши. Меня не мучил кашель; когда меня пороли, я плакал, пока били, а вообще был свободен, как птица, и ни о чем не заботился. Михась же был лишен даже этого. С годами и он оказался бы между молотом и

наковальной, и в жизни только и было бы у него радости, что хоть мальчиком он посмеялся от души, нашалился да на свежем воздухе побегал на солнышке. Но здесь такого сочетания работы с детским весельем я не видел. Напротив, ребенок уходил в школу и возвращался хмурый, усталый, сгорбившись под тяжестью книг, с морщинками в уголках глаз, как будто постоянно подавляя рыдания... Поэтому я ему сочувствовал и старался его поддержать.

Я сам учитель, хотя и частный, и не знаю, как бы я жил на свете, если бы утратил веру в науку и в ту пользу, которую она приносит. Но я думаю, что наука не должна быть трагедией для детей, что латынь не может заменить им воздух и здоровье и что правильное или неправильное произношение не должно решать судьбы маленьких людей.

Думаю также, что педагог лучше выполнит свою задачу, когда ребенок будет чувствовать его мягко ведущую руку, а не ногу, которая давит ему грудь, попирая все, что его научили любить и уважать дома... Такой уж я мракобес, и, наверное, никогда не изменю своих взглядов, потому что все больше в них утверждаюсь, когда вспоминаю своего Михася, которого так искренно любил. Шесть лет я был его учителем - сперва гувернером, потом, когда он поступил во второй класс, репетитором, так что у меня было время привязаться к нему. Наконец, зачем мне скрывать от себя: он был мне дорог потому, что был сыном женщины, которая для меня дороже всего на свете...

Она никогда об этом не знала и никогда не узнает. Я всегда помню, что я всего лишь какой-то пан Вавжинкевич, домашний учитель, да еще и больной человек, между тем как она происходит из богатого шляхетского рода, она дама, на которую я просто не смею поднять глаза. Но одинокое сердце, истерзанное жизнью, должно в конце концов за что-нибудь уцепиться, как цепляется раковина, выброшенная волной, - так мое сердце прильнуло к ней. Что я могу поделать? Да и что она от этого теряет? Я не прошу у нее больше света, чем у солнца, которое весной согревает мою больную грудь! Шесть лет я жил в ее доме, был подле нее, когда умер ее муж, видел ее несчастной, одинокой, но всегда ласковой, как ангел, любящей детей, почти святой в своем вдовстве, и... этим неизбежно должно было кончиться. Но это уже скорее не моя любовь, а мой культ.

Михась был очень похож на мать. Часто, когда он поднимал на меня глаза, мне казалось, что я смотрю на нее. Те же тонкие черты, тот же лоб, затененный пышными волосами, то же мягкое очертание бровей и особенно голос - почти такой же нежный, как у нее. В характере матери и сына тоже было много общего, это выражалось в некоторой склонности к возвышенным чувствам и взглядам. Они оба принадлежали к той породе нервных, впечатлительных людей, благородных и любящих, которые способны на любые жертвы, но в столкновении с действительной жизнью редко находят свое счастье, давая больше, чем получают взамен. Эта порода теперь исчезает, и, мне кажется, какой-нибудь современный реалист мог бы сказать, что эти люди заранее обречены на гибель потому, что являются на свет с врожденным пороком сердца, - они слишком много любят.

Родители Михася прежде были очень богаты, но они "слишком много любили..." Бури развеяли богатство, а то, что осталось, не было, разумеется, ни нищетой, ни даже бедностью; по сравнению с прошлым они жили очень скромно. Михась был последний в роду: поэтому пани Мария любила его не только как сына, но и как свои последние надежды на будущее. К несчастью, она, подобно большинству матерей, была ослеплена любовью к своему мальчику и находила у него необыкновенные способности. Михась действительно не был тупицей, но принадлежал к типу детей со

средними способностями, которые обычно раскрываются гораздо позже, вместе с укреплением здоровья и физическим развитием. В других условиях он мог бы окончить школу и университет и стать полезным работником на любом поприще. Но в обстановке, утвердившейся в немецкой школе, это исключалось. К тому же он знал, какого высокого мнения мать о его способностях, и лишь мучился, напрасно надрывая свои силы.

Я много видел на своем веку и решил ничему не удивляться, но, признаться, с трудом поверил, что такое сочетание, как выдержка, сила характера и упорный труд, может причинять лишь зло ребенку. В этом было что-то ненормальное, и если бы словами можно было воздать за горечь и скорбь, я, право, сказал бы вместе с Гамлетом: "Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам..."

С Михасем я занимался так, как будто от отметок, которые он получал, зависела моя будущность. И у меня и у моего милого мальчика была одна цель не огорчать пани Марию, показать хороший табель, вызвать на ее устах счастливую улыбку.

Если ему удавалось получить хорошую отметку, он приходил из класса сияющий и счастливый. В таких случаях мальчик, казалось, вдруг вырастал и выпрямлялся; его обычно грустные глаза весело, по-детски смеялись и горели, как два уголька. Он на ходу сбрасывал со своих узеньких плеч ранец, набитый книжками, и, подмигивая мне, говорил еще в дверях:

- Ну, пан Вавжинкевич, мама будет довольна! Я получил сегодня по географии... угадайте сколько?

Я делал вид, что не могу отгадать, тогда он бросался мне на шею и с гордостью говорил как будто на ухо, но очень громко:

- Пятерку! На самом деле пятерку!

То были счастливые минуты для нас обоих. В такие дни по вечерам Михась мечтал, стараясь представить, что будет, если по всем предметам он получит отличные отметки, и болтал то со мной, то сам с собой.

- На рождество мы поедem в Залесин: будет снег - как всегда зимой, так что поедem на санях... Приедem мы ночью, но мама будет меня ждать, обнимет меня, расцелует, потом спросит про отметки... Я нарочно притворюсь грустным, мама начнет читать и вдруг: по закону божьему - отлично, по-немецкому отлично, по-латыни - отлично... одни отлично. О пан Вавжинкевич!

И у бедного мальчика слезы навертывались на глаза, а я не только не останавливал его, но и сам следовал за ним измученным воображением и уже видел дом в Залесине, его торжественный покой, и это высшее благородное существо, которое было там хозяйкой, и счастье, какое ей доставит приезд мальчика с отличными отметками.

Пользуясь такими минутами, я читал Михасю нравoучения, объясняя, как маме важно, чтобы он учился и в то же время был здоров и что поэтому он не должен плакать, когда я его заставляю гулять или спать столько, сколько это необходимо, и не должен настаивать на ночных занятиях. Растроганный мальчик обнимал меня и повторял:

- Хорошо, хорошо, мой золотой, просто ужас, как я буду здоров и вырасту такой

большой, что ни мама, ни маленькая Леля меня не узнают.

Часто получал я письма от пани Марии с просьбой следить за здоровьем ребенка, но каждый день с отчаянием убеждался, что примирить в данном случае учение со здоровьем невозможно. Если бы предметы, которые преподавали Михасю, были слишком трудны, я нашел бы выход, переведя его из второго класса в первый, но он прекрасно понимал эти дисциплины при всей их бессодержательности. Следовательно, дело было не в учении, а во времени, которое оно отнимало, и в этом злосчастном немецком языке, которым мальчик владел недостаточно свободно. Тут я уже не в силах был помочь и только надеялся, что на праздниках отдых восстановит пошатнувшееся здоровье ребенка, подорванное чрезмерным трудом.

Если бы Михась был не такой впечатлительный, я бы не так беспокоился за него, но каждую неудачу он переживал куда острее, чем успех. Радостные минуты "пятерок", к несчастью, были очень редки.

Я привык читать по его лицу, и стоило мальчику только войти, я с первого взгляда знал, что ему не повезло.

- Получил плохую отметку? - спрашивал я.

- Да!

- Не знал урока?

Иногда он отвечал: "Не знал". Чаще однако: "Знал, но не сумел ответить".

Маленький Овицкий, первый ученик во втором классе, которого я нарочно стал приводить к нам, чтобы Михась с ним вместе готовил уроки, сказал, что Михась потому получает плохие отметки, что не умеет бойко отвечать.

По мере того как ребенок все больше утомлялся умственно и физически, такие неудачи повторялись все чаще. Когда он, наплакавшись вволю, тихо садился заниматься и с удвоенной энергией принимался за уроки, я замечал в его кажущемся спокойствии какую-то безнадежность и в то же время лихорадочную поспешность. Иногда он забивался в угол, молча хватаясь за голову обеими руками: экзальтированному мальчику представлялось, что он роет могилу любимой матери; это был заколдованный круг, из которого он не находил выхода. Его ночные занятия становились все чаще. Боясь, что я заставлю его лечь, он, чтоб не разбудить меня, тихонько вставал впотьмах, уносил лампу в переднюю, там ее зажигал и садился за работу. Таким образом он провел несколько ночей в нетопленном помещении, пока я этого не обнаружил. Мне не оставалось ничего иного, как встать самому, позвать его в комнату и еще раз повторить с ним все уроки. Только это могло его убедить, что он все знает и напрасно подвергает себя риску заболеть. В конце концов он уже сам не понимал, что знает и чего не знает. Мальчик терял силы, худел, желтел и становился все мрачнее. Но иногда случалось нечто, убеждавшее меня в том, что не только работа исчерпывала его силы. Как-то, когда я рассказывал ему историю, которую "Дядя поведал своим племянникам"*, что я делал ежедневно по настоянию пани Марии, Михась вдруг вскочил с загоревшимися глазами. Я почти испугался, увидев испытующее и суровое выражение лица, с каким он воскликнул:

* -

* Имеются в виду рассказы о германизации поляков в Познани.

- Скажите! Так это в самом деле не сказка? Потому что...

- Что, Михась? - спросил я с удивлением.

Вместо ответа он стиснул зубы и, наконец, разрыдался так, что я долго не мог его успокоить.

Я расспрашивал Овицкого, чем могла быть вызвана эта вспышка, но он не сумел или не хотел ответить; однако я сам догадался. Не было никакого сомнения, что польскому ребенку приходилось слышать в немецкой школе много таких суждений, которые болезненно ранили его. Он чувствовал презрение, глумление над его страной, языком, традициями - словом, над всем тем, что дома его учили чтить и любить. Эти суждения не задевали других мальчиков и не вызывали в них ничего, кроме глубокой ненависти к учителям и всему школьному начальству. Но такой прямодушный мальчик, как Михась, воспринимал это все крайне болезненно. Он не смел прекословить, хоть подчас ему хотелось кричать от боли. Но он стискивал зубы и страдал. И к огорчениям, которые причиняли ему плохие отметки, присоединялась еще горечь морального угнетения, в котором он постоянно находился. Две силы, два голоса, которые обязан был слушать ребенок и которые не должны были противоречить друг другу, властно толкали его в противоположные стороны. То, что один авторитет признавал достойным и любимым, другой клеймил как что-то смехотворное и отжившее, что один называл добродетелью, другой считал проступком. В этом раздвоении мальчик шел за той силой, к которой влекло его сердце, но ему приходилось притворяться с утра до вечера и жить в этом мучительном притворстве дни, недели, месяцы... Какое ужасное положение для ребенка!

Странная судьба была у Михася. Обычно жизненные драмы начинаются позже, когда первые листья опадают с дерева юности, - у него же все то, что создает несчастье человека: моральное угнетение, затаенная печаль, душевная тревога, напрасные усилия, внутренняя борьба, постепенно нарастающая безнадежность все это началось на одиннадцатом году жизни. Ни его хрупкая фигурка, ни хрупкие силы не могли противостоять этой тяжести. Проходили дни и недели, бедняжка удваивал усилия, а результаты становились все хуже, все плачевней. Письма пани Марии были по-прежнему нежны, но этим лишь увеличивали бремя, под которым изнемогал ребенок.

"Бог одарил тебя, Михась, необыкновенными способностями, - писала она, - поэтому я возлагаю на тебя такие надежды и верю, что они меня не обманут и ты станешь достойным человеком на радость мне и на пользу родине".

Когда мальчик получил впервые такое письмо, он судорожно схватил меня за руки и разрыдался.

- Что же мне делать, пан Вавжинкевич? - повторял он. - Что же мне делать?

Действительно, как он мог выйти из этого положения? И что же было делать, если он явился на свет без врожденных способностей к языкам и не умел бойко говорить по-немецки?

В день "всех святых" начались каникулы. Четверть была неважная: по трем основным предметам отметки были посредственные. Уступая его горячим мольбам, я не послал

табеля пани Марии.

- Ну, дорогой пан Вавжинкевич, - просил он, сложив ладони, как для молитвы, - мама не знает, что на "всех святых" выдают отметки, а на рождество, может быть, бог сжалится надо мной.

Бедный ребенок обманывал себя надеждой, что еще исправит плохие отметки; по правде сказать, надеялся и я. Мне все казалось, что он еще войдет в колею школьной жизни, привыкнет, овладеет языком и усвоит правильное произношение, а главное - что со временем будет быстрее готовить уроки. Если бы не это, я давно бы написал пани Марии и раскрыл бы ей истинное положение. Между тем надежды наши как будто стали оправдываться. Сразу же после каникул Михась получил три отличных отметки, в том числе по-латыни. Из всего класса он один знал прошедшее время латинского глагола "радоваться". Знал он это потому, что, получив перед тем два "отлично", спросил меня, как по-латыни: "Я радуюсь". Я думал, что мальчик сойдет с ума от счастья. Он написал матери письмо, которое начиналось следующими словами: "Дорогая мамочка! Знаешь ли ты, моя любимая, как прошедшее время от латинского глагола "радоваться"? Наверно, не знаешь ни ты, ни маленькая Леля, потому что из всего класса знал только я один".

Михась просто боготворил мать. С этого времени он поминутно расспрашивал у меня о всевозможных формах латинских глаголов.

Удержать полученные отметки стало задачей его жизни. Но проблеск счастья был недолог. Вскоре злополучный польский акцент разрушил все, что успело создать прилежание, а количество предметов было так велико, что не позволяло ребенку уделять каждому из них столько времени, сколько требовал переутомленный мозг. Случай был причиной еще больших неудач. Михась и Овицкий забыли мне сказать об одной заданной им письменной работе и не приготовили ее. У Овицкого все сошло благополучно, он был первый ученик, и у него даже не спросили работу, но Михась получил публичный выговор с предупреждением об исключении.

Очевидно, в школе предполагали, что он умышленно утаил от меня этот урок, чтоб его не готовить, а мальчик, не способный на малейшую ложь, не мог доказать свою невиновность. Он, правда, мог сказать в свою защиту, что Овицкий забыл так же, как и он, но это противоречило школьной этике. В ответ на мое заступничество немцы заявили, что я поощряю в ребенке лень. Все это причинило мне немало горя, но еще больше тревожил меня вид Михася. В тот вечер я видел, как он, сжимая голову обеими руками и думая, что я его не слышу, шептал: "Больно! Больно! Больно!"

На другое утро пришло письмо от матери. Нежные слова, которыми пани Мария осыпала Михася за те "отлично", были для него новым ударом.

- О, хорошо же я утешу маму! - рыдал он, закрыв лицо руками.

На следующий день, когда я надевал ему ранец с книжками, он покачнулся и чуть не упал. Я не хотел пускать его в школу, но он сказал, что у него ничего не болит. Он только просил его проводить, потому что боялся головокружения. В полдень он вернулся опять с посредственной отметкой. Получил он ее за урок, который отлично знал, но, судя по тому, что говорил Овицкий, испугался и не мог вымолвить ни слова. В школе о нем установилось определенное мнение: это мальчик, насквозь проникнутый "реакционными убеждениями и инстинктами", тупой и ленивый.

О двух последних обвинениях Михась знал и боролся с ними, как утопающий с волнами: отчаянно, но тщетно.

В конце концов мальчик совсем потерял веру в себя и в свои силы; он пришел к убеждению, что все его усилия и его работа бесполезны, что он никогда не исправит произношения, что все равно он будет учиться плохо. В то же время он представлял себе, что скажет мать, каким это будет для нее горем, как подорвет ее хрупкое здоровье.

Ксендз из Залесина, который иногда ему писал, человек доброжелательный, но не чуткий, каждое письмо заканчивал словами:

"Ты должен всегда помнить, что не только радость, но и здоровье Матери зависят от твоих успехов в занятиях и твоего поведения". Он помнил, слишком хорошо помнил и даже во сне жалобно повторял: "Мама, мама!" - как будто просил прощение.

А наяву он получал все худшие отметки. Между тем рождество быстро приближалось и по поводу четверти уже нельзя было обольщаться. Я написал пани Марии, чтобы ее об этом предупредить. Написал открыто и решительно, что ребенок болен и перегружен уроками, что, несмотря на все свои усилия, он не может справиться с занятиями и что, вероятно, после праздников придется взять его из школы, оставить в деревне и прежде всего укрепить его здоровье. Из ответа я почувствовал, что ее материнское самолюбие было задето, однако она написала мне как рассудительная женщина и любящая мать. Я не сказал Михасю ни об этом письме, ни о намерении взять его из школы, боясь взволновать его. Намекнул только, что мать знает, как он усердно работает, и, что бы ни случилось, сумеет понять его неудачи. Это заметно облегчило его душу, и он долго и горько плакал, что в последнее время с ним редко случалось. Рыдая, он повторял: "Сколько я маме причиняю горя!" Однако при мысли о том, что скоро он поедет в деревню, увидит мать, и маленькую Лелю, и Залесин, и ксендза Машинского, он улыбнулся сквозь слезы. Я тоже с нетерпением ждал отъезда в Залесин, потому что не мог больше видеть ребенка в таком состоянии. Там его ждали материнская ласка и человеческое сочувствие, там было тихо и спокойно. Там даже занятия становились родными и близкими, а не чужими и отталкивающими, как здесь, там вся атмосфера была родная и чистая, там легко дышалось детской груди. Поэтому я ожидал этих праздников как спасения и по пальцам считал минуты, которые нас отделяли от них и которые приносили Михасю новые огорчения. Казалось, все было против него. Для "большой" практики в языке детям было приказано говорить между собой только по-немецки. Михась как-то забылся и получил снова - "за деморализацию других" - публичный выговор. Произошло это уже перед самыми праздниками и потому имело еще большее значение. Что испытал в эту минуту самолюбивый и впечатлительный ребенок, я не берусь описывать. Какой хаос должен был возникнуть в его голове! Его детское сердце разрывалось на части, и вместо света перед глазами вставал непроницаемый мрак. Он сгибался, как колос под напором ветра. Наконец, лицо этого одиннадцатилетнего ребенка стало просто трагическим, у него был такой вид, будто все время его душили слезы и он с трудом сдерживал рыдания; минутами глаза его напоминали глаза раненой птицы, потом его охватила странная задумчивость и сонливость; движения его казались безотчетными, и странно медлительной стала речь. Он притих, стал спокоен и механически послушен. Когда я говорил ему, что пора гулять, он не спорил, как бывало раньше, а брал шапку и молча шёл за мной. Я был бы даже рад, если бы это было равнодушие, но видел, что под ним скрывалась болезненная покорность судьбе. Он садился за книги и готовил уроки, как всегда, но скорее по привычке. Чувствовалось, что, механически повторяя спряжения, он

думал о другом, а вернее - ни о чем. Однажды, когда я спросил, приготовлены ли уроки, он ответил мне, медленно растягивая слова, точно сквозь сон: "Я думаю, пан Вавжинкевич, что это все равно не поможет". При нем я боялся даже упоминать о матери, чтобы не переполнить чашу горечи, из которой пили его детские уста.

Меня все больше беспокоило его здоровье, - он продолжал худеть и стал уже почти прозрачным. Сеть тонких жилок, которая раньше выступала у него на висках только в минуту возбуждения, теперь была видна постоянно. Его лицо светилось какой-то внутренней духовной красотой. Грустно было смотреть на эту почти ангельскую головку, которая производила впечатление увядающего цветка. Вел он себя так, как будто с ним ничего не произошло, но таял и слабел день ото дня. Он уже был не в силах носить ранец со всеми книгами, и я ему клал две или три, а остальные нес сам, потому что теперь ежедневно отводил его и приводил из школы.

Наконец, наступили праздники. Лошади из Залесина уже два дня как приехали за нами, а в письме пани Мария писала, что нас ждут с нетерпением. "Я слышала, Михась, что тебе трудно дается учение, - заканчивала письмо пани Мария, - и уже не рассчитываю на отличные отметки, но хотела бы, чтобы твои учителя думали так же, как и я, что ты трудился не жалея сил и старался хорошим поведением возместить недостаточные успехи".

Однако учителя во всех случаях думали иначе, так что четверть обманула и эти надежды. Последний публичный выговор касался именно поведения мальчика, о котором у пани Марии было совсем иное представление. По мнению немецких педагогов, хорошо себя вел лишь тот ребенок, который улыбкой отвечал на их насмешки над "польской отсталостью", над языком и традициями. Следствием этих этических понятий явилось то, что Михась, как не подающий виды на будущее и не способный с пользой усваивать преподаваемые предметы, а тем самым напрасно занимающий место в школе, был исключен. Решение это он принес вечером. На улице шел густой снег, и в доме было почти темно, так что я не мог разглядеть его лицо. Я видел только, как он прошел по комнате и, молча встав у окна, тупо уставился на снежинки, кружившиеся в воздухе. Больно было глядеть на бедняжку, у которого мысли, должно быть, кружились в голове, как эти снежинки, но я предпочел не говорить с ним ни о четверти, ни об его исключении. В тягостном молчании прошло около получаса, а тем временем уже совсем стемнело. Я принялся укладывать вещи в баул, но, видя, что Михась все еще стоит у окна, наконец, спросил:

- Что ты там делаешь, Михась?

- А правда, - заговорил он дрожащим голосом, запинаясь на каждом слове, - правда, что мама сидит теперь с Лелей в зеленой гостиной у огня и думает обо мне?

- Возможно. Почему у тебя так дрожит голос? Ты не болен?

- Нет, у меня ничего не болит, но мне очень холодно.

Я немедленно приготовил ему постель и стал раздевать его, с жалостью глядя на его худенькие коленки и руки, тонкие, как тростинки. Потом заставил его выпить чаю и укрыл чем только мог.

- Теплее тебе теперь?

- О да! Только голова немножко болит.

Бедная голова, ей было от чего болеть. От усталости он скоро уснул, тяжело дыша во сне своей узкой грудью. Мне тоже нездоровилось, и, уложив, наконец, его и свои вещи, я тотчас же лет. Задул свечу и уснул в ту же минуту.

Около трех часов ночи меня разбудил свет и монотонное, так хорошо мне знакомое бормотание. Я открыл глаза, и сердце у меня беспокойно забилося. На столе горела лампа, перед ней в одной рубашке сидел над книгой Михась; щеки у него пылали, глаза были полузакрыты, как будто он напряженно силился что-то запомнить, голова откинулась, а сонный голос упорно повторял:

- Coniunctivus: Amem, ames, amet, amemus, ametis...

- Михась!

- Coniuctivus: Amem, ames...

Я схватил его за плечо:

- Михась!

Он проснулся и удивленно заморгал глазами, как будто не узнавая меня.

- Что ты делаешь? Что с тобой, дитя -мое?

- Повторяю все сначала, - ответил он улыбаясь, - мне нужно завтра получить "отлично"...

Я схватил его на руки и отнес в постель. Тело его обожгло меня, точно огнем. К счастью, доктор жил в этом же доме, и я немедленно его вызвал. Ему не пришлось долго размышлять, с минуту он послушал пульс ребенка, потом положил ему руку на лоб: у Михася было воспаление мозга.

Ах! Многое, видно, не могло вместиться в его голове.

Болезнь развивалась с угрожающей быстротой... Я послал депешу пани Марии, и на другой же день резкий звонок в передней известил о ее приезде. Едва отперев дверь, я увидел под черной вуалью ее белое как полотно лицо; пальцы ее с необычайной силой впились мне в плечо, а вся ее душа, казалось, устремилась в глаза, когда она коротко спросила:

- Жив?

- Да. Доктор говорит, что ему лучше.

Откинув вуаль, покрытую инеем, она вбежала в его комнату. Я лгал: Михась был жив, но ему не стало лучше. Он не узнал даже мать, когда она села подле него и взяла его руки. Только после того, как я положил ему на голову свежий лед, Михась прищурил глаза, с усилием вглядываясь в склонившееся над ним лицо.

Он, видимо, напрягал сознание, борясь с жаром и бредом, потом губы его дрогнули в улыбке раз и другой и, наконец, прошептали:

- Мама!

Она схватила его руки и так просидела несколько часов, даже не раздевшись с дороги. И, лишь когда я за" метил это, она сказала:

- Ах, верно. Я забыла снять шляпу.

Когда она ее сняла, странное чувство сдавило мне сердце: в ее русых волосах, так красивших ее молодое, прекрасное лицо, блестели серебряные нити. Дня три тому назад их, вероятно, еще не было.

Теперь она сама меняла компрессы мальчику и подавала ему лекарство. Михась не сводил с нее глаз, следя за каждым ее движением, но опять ее не узнавал. К вечеру жар усилился. В бреду он читал "Думу о Жулкевском" из песен Немцевича, то вдруг начинал отвечать урок, то склонял разные латинские слова. Я поминутно выходил из комнаты, чтобы этого не слышать. Еще до болезни он задумал сделать матери сюрприз: тайком учился прислуживать во время мессы; и теперь дрожь пронизывала меня насквозь, когда в вечерней тишине я слышал угасающий голос этого одиннадцатилетнего мальчика, который повторял перед смертью: *Deus metis, Deus meus, quare me repulisti et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus!**

* Боже мой, боже мой, за что отвратил ты лицо свое от меня и вверг меня в печаль, в то время как враг мой преследует меня! (лат.).

Я не в состоянии передать, какое трагическое впечатление производили эти слова. Был канун рождества, сочельник. С улицы доносились оживленные голоса, звенели бубенчики. Город принимал радостный, праздничный вид. Когда совсем стемнело, в окне по другую сторону улицы зажгли елку, увешанную золотыми и серебряными орехами, а вокруг нее прыгали, как на пружинке, светлые и темные детские головки с развевающимися локонами. Окна ярко сияли в темноте, а за ними в комнате раздавались громкие восторженные возгласы. Весело звучали голоса, доносившиеся с улицы, радость становилась общей. Один только наш Михась повторял с великой скорбью: "Dues meus, Deus meus, quare me repulisti?" К воротам подошли мальчики, и вскоре мы услышали их пение: "В яслях лежит, кто ж победит..." Приближалась ночь рождества, а мы трепетали от страха при мысли, что она может стать ночью смерти.

На мгновение нам показалось, что мальчик пришел в себя: он стал звать Лелю и мать, но это недолго продолжалось. Его учащенное дыхание минутами прекращалось. Обольщаться надеждой уже было невозможно. Эта маленькая душа только наполовину оставалась с нами. Дух его уже улетел, а теперь он сам уходил в некую темную беспредельную даль и бесконечность. Он уже никого не видел, ничего не слышал и не почувствовал даже, когда мать упала как мертвая к его ногам. Он стал равнодушен ко всему и уже не глядел на нас. С каждым вздохом он уходил все дальше, погружаясь во мрак. Болезнь постепенно, одну за другой, гасила в нем искорки жизни, В руках ребенка, лежавших на одеяле, уже видна была та тяжелая неподвижность, которая свойственна только неодушевленным предметам; нос у него заострился, а в лице появилось выражение какой-то холодной важности. Дыхание его все учащалось и под конец стало похоже на тикание часов. Еще минута, еще вздох - и упадет последняя песчинка в часах его жизни: наступит конец.

Около полуночи нам показалось, что началась агония: он стал хрипеть и задыхаться, точно захлебываясь водой, а потом вдруг умолк. Но зеркало, которое доктор приложил к его губам, еще затуманилось дыханием. Час спустя жар внезапно спал. Мы уже думали, что он спасен. Даже доктор как будто стал надеяться. Бедной пани Марии сделалось дурно.

В течение двух часов ему становилось все лучше. Под утро я вышел в переднюю. Уже четвертую ночь я проводил без сна у постели ребенка, и кашель душил меня все сильнее. Я бросился на тюфяк и сразу уснул. Разбудил меня голос пани Марии. Мне показалось, что она зовет меня, но в ночной тишине явственно раздавалось: "Михась! Михась!" У меня волосы встали дыбом, когда я понял страшную интонацию, звучавшую в ее голосе. Не успел я вскочить, как она сама выбежала в переднюю и, закрывая ладонью свечу, прошептала дрожащими губами:

- Михась... умер!

Я бросился к постели ребенка. Да, это так... Положение головы на подушке, открытый рот, глаза, неподвижно устремленные в одну точку, и напряжение всех членов не оставляли никакого сомнения. Михась умер.

Я закрыл ему глаза и накинул на него одеяло, соскользнувшее с его исхудалого тела, когда мать, вскочив с постели, побежала за мной. Потом долго приводил в чувство пани Марию.

Первый день праздника прошел в приготовлениях к похоронам. Пани Мария не хотела расставаться с телом умершего, и ей все время делалось дурно. Она упала в обморок, когда пришли снимать мерку для гроба, потом, когда одевали покойника, затем снова, когда устанавливали катафалк. Отчаяние ее поминутно наталкивалось на равнодушие служащих похоронного бюро, привыкших к таким сценам, и переходило чуть ли не в безумие. Она сама клала стружки в гроб, под атласную подушечку, бормоча, как в бреду, что ребенку будет неудобно лежать так низко.

А Михась между тем лежал на постели, уже одетый в новенький мундир и белые перчатки, окоченевший, равнодушный и безмятежный. Наконец, тело положили в гроб и перенесли на катафалк, а кругом в два ряда поставили свечи. Комната, в которой бедный ребенок просклонял столько латинских слов и решил столько задач, казалось, превратилась в часовню. Закрытые ставни не пропускали дневного света, и желтые мерцающие огоньки свечей придавали ей торжественность костела. Ни разу с того дня, когда Михась получил последнюю отличную отметку, я не видел у него такого безмятежного лица. Его тонкий профиль, обращенный к потолку, спокойно улыбался, как будто мальчику полюбилась вечность смерти и он был счастлив. Мерцание свечей придавало его лицу и усмешке видимость жизни; казалось, он улыбался во сне.

Постепенно стали сходитьсь мальчики, товарищи Михася, не уехавшие на каникулы. Глаза их удивленно раскрылись при виде свечей, катафалка и гроба. Может быть, эти маленькие "мундиры" удивляла серьезность их товарища и его новая роль. Еще недавно он был среди них, гнул, как и они, под тяжестью ранца, набитого немецкими книгами, получал плохие отметки, выслушивал брань и публичные выговоры, имел плохое произношение, каждый из них мог его дернуть за волосы или за ухо, а теперь он был настолько выше их и лежал такой торжественный, спокойный в окружении горящих свечей. Все приближались к нему с уважением и некоторым трепетом, - даже Овицкий, первый ученик, теперь не много значил по сравнению с ним. Мальчики, подталкивая друг друга, тихонько шептались, что теперь он ни на

кого не обращает внимания, что, если бы пришел даже Herr Inspektor*, он бы не вскочил, не испугался, а улыбался так же спокойно, - что он "там" может делать все, все, что захочет: шуметь, как вздумается, и разговаривать даже по-польски с маленькими крылатыми ангелочками.

* Господин инспектор (нем.).

Перешептываясь, они приближались к свечам, стоявшим двумя рядами, и, прочитав "вечный покой" Михасю, робко отходили.

На следующий день гроб закрыли крышкой, заколотили гвоздями и повезли на кладбище. Скоро комки песка, смешанного со снегом, скрыли от меня Михася... навсегда.

Сегодня, когда я пишу это, прошло уже около года с того дня. Но я помню тебя и скорблю о тебе, мой маленький Михась, мой цветочек, так рано увядший. У тебя было дурное произношение, но ты был прямодушен. Я не знаю, где ты и слышишь ли ты меня, знаю только, что твой прежний учитель кашляет все сильнее, что ему все тяжелее, все более одиноко и что, может быть, скоро и он уйдет, как ушел ты...

1879